

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие от издательства 7

ДЕВОЧКИ

Глава I. Няня 8

Глава II. Император Николай I отворяет мне дверь. —

Нянин рассказ о страшном былом 16

Глава III. Моя бабушка. — Ипполитова Лыска. — Розги. —

Как меня спасает бабушка 28

Глава IV. Шесть разбойников и бабушкин подарок 36

Глава V. Козья драма 43

Глава VI. Отец. — Золотой шарик. — Волшебные

кладовые. — Живая коза 50

Глава VII. Суд и расправа. — Скарлатина. —

Несчастный чтец 56

Глава VIII. Паршивка. — Андрюшина месть приживалке. —

Страшное горе. — Император Александр II вступает

со мной в беседу. — Институт 64

ИНСТИТУТКИ

Глава I. «Чертов переулочек». — Бал. — Наказание. — Закат

солнца. — Прощание. — Прием родных 78

Глава II. Андрюша. — Проблеск любви. — Луговой. —

Богомолье и батюшка 101

Глава III. Новый инспектор. — Сказка о Принцессе

с Золотой Головкой 117

Глава IV. Новенькая. — Украденная ложка 133

Глава V. Каникулы. — Спасение погибавших 150

Глава VI. Конец каникул. — Первые розы. — L'Еgypte. — Русалочка. — Солнце в руках. — Ирочка Говорова. — Разговор со Шкот	164
Глава VII. Выпускной класс. — Разборка кузенов. — Беседа с Рыжей Пашей. — Гадание	182
Глава VIII. Женя Лосева. — Смерть ее матери. — Усыновление Грини	194
Глава IX. Гринины сказки. — Приглашение на бал. — Настоящее письмо. — Ряженые. — Бал	208
Глава X. Первая несправедливость	230
Глава XI. Великий пост. — Салопова в роли духовной путеводительницы. — Ужасный сон Бульдожки	247
Глава XIII. Последняя ночь в институте. — В широкий свет	268
Недочеты жизни современной женщины	274

Предисловие от издательства

Надежда Александровна Лухманова (урожденная Байкова, 1844—1907) родилась в дворянской семье и получила великолепное образование в Павловском институте благородных девиц.

В Санкт-Петербурге Надежда познакомилась с молодым выпускником института инженеров путей сообщения, сыном богатого тюменского купца. После свадьбы молодые отбыли на родину мужа, в Тюмень. Позднее в своих «Очерках из жизни в Сибири» (1895) писательница назовет этот город «глухими местами». Молодая писательница пыталась вписаться в уклад жизни тюменского купечества, внимательно наблюдала окружающую жизнь, впитывала ее красоту и ощущения. Все это она выразила в своих произведениях, посвященных Сибири (романы «Переселенцы» и «В глухих местах» вышли в свет в 1895 году, оригинальная комедия «Сибирский Риголетто» — в 1900 году).

С 1890 года писательница начала сотрудничество в «Правде», «Петербургской жизни» и других изданиях, затем писала театральные рецензии в «Новостях», сотрудничала в «Новом времени». Лейтмотивом всей жизни и творчества писательницы стал «женский вопрос».

Основные свои произведения писательница издала в зрелом возрасте, среди них роман-воспоминание об институтской жизни, который называется «Девочки».

За свою жизнь Надежда Александровна написала около тридцати книг. Ее почти на целый век несправедливо забытое литературное наследие впечатляет обилием и жанровым разнообразием: романы, повести, рассказы, очерки, оригинальные и переводные пьесы.

ДЕВОЧКИ

Глава I

Няня

Человеческое счастье лежит в светлых воспоминаниях детства...

Если мне не изменяют мои детские воспоминания, то в конце царствования императора Николая I Павловский кадетский корпус помещался там, где впоследствии было Константиновское училище, а теперь находится артиллерийское (ныне Московский пр.,17.) Я родилась в этом здании и провела в нем свое раннее детство; в памяти моей навсегда сохранилось впечатление очень больших комнат, широких нескончаемых коридоров, громадных лестниц — словом, ощущение простора, широты, высоты и света. То же самое встретило меня и в Павловском институте, куда я поступила восьми лет, и это привило мне на всю жизнь потребность свежего и холодного воздуха; в маленьких теплых комнатах я задыхаюсь и начинаю тосковать, даже мыслям моим становится тесно, и я ощущаю какое-то нервное беспокойство.

Отец мой, полковник в отставке, был экономом Павловского корпуса и Павловского же института для благородных девиц. Как смотрел он на такую «выгодную» тогда службу, имел ли много побочных доходов — не знаю! Я слышала, что отца очень любили все: и офицеры, его товарищи по службе, и кадеты — и что при нем не было ни «кашных», ни «кисельных» бунтов.



Павловский кадетский корпус (1829–1863) – военное учебное заведение в Санкт-Петербурге.

*Под знамя Павловцев мы дружно поспешим,
За славу Родины всей грудью постоим!
Мы смело на врага,
За русского царя,
На смерть пойдем вперед,
Своей жизни не щадя!!!
Рвется в бой славных Павловцев душа...
(Марш кадетов)*

История этих «возмущений», за которые и был смещен предшественник отца, так часто рассказывалась в нашей семье, что мне казалось долго, будто я сама присутствовала при том, как кадеты, возмущенные тем, что слишком часто к ужину получали гречневую размазю на воде, почти без масла, решились наконец отомстить эконому. Заговорщики явились в столовую с мешочками и фунтиками, свернутыми из толстой бумаги, и, наполнив их кашей, спрятали в карманы. Пользуясь тем, что из столовой, находившейся в отдельном флигеле, приходилось идти в дортуар мимо квартиры эконома, они сложили всю эту кашу грудой у его двери. Проходивший в последней паре дернул звонок; дверь otvorил сам эконом, поскользнулся на размазне и чуть не скатился вниз по лестнице.

Так ли случилась эта история — не знаю, но такую именно она представлялась моему воображению, такой я рассказывала ее всегда в институте, с восторгом представляя себе эконома, сидящего на жидкой размазне.

Кисельный бунт выразился в том, что кадеты не притрагивались к этому блюду в течение целой недели, а эконом, ведя с ними борьбу, каждый день угощал их киселем.

Отец, наверно, кормил кадетов порядочно. У него в Павловском корпусе воспитывались три племянника, которые впоследствии, когда приходили навещать меня в Павловский институт, с гордостью заявляли мне, что их никогда не били за дядю, а корми он худо, им так намяли бы бока, что — у!!!

Жила моя семья, должно быть, весело и шумно. Когда я вызываю свои самые ранние воспоминания, в памяти воскресают две совершенно разные картины. В одной я вижу очень светлые комнаты, с массой гостей, с зелеными карточными столами, с роялем, за которым играют, поют... Из всех деталей этого великолепия яснее всего я помню большие подносы с конфетами и себя, крошечную девочку, в нарядном платье, с рыжими локонами, всегда за руку со своей няней Софьюшкой, которая подводит меня то к одному гостю, то к другому и, наклоняясь, шепчет:

— Целуй ручку у бабушки, сделай реверанс дяденьке, теперь иди попрощаться с папенькой и с маменькой.

Отца я всегда находила за карточным столом и, нисколько не боясь, дергала его за рукав до тех пор, пока он оставлял карты, поднимал меня на руки, целовал и всегда, несмотря на восклицание няни: «Барыня приказали не давать им вина», подносил мне свой стакан, такой тонкий, красивый, широкий, как чашка, из которого я с опаской и все-таки с восхищением отхлебывала шампанского, коньяку с лимонадом или теплого глинтвейна, смотря по тому, что пил в это время отец.

— Стыдно, Наденька, — говорила няня, утирая мне рот, — матушка не велит, а вы (По приказанию матери няня всегда говорила нам, детям, «вы», мы родителям говорили тоже «вы», а всей прислуге — «ты»). (Прим. автора.) все свое...

Но я целовала няню Софьюшку, которую обожала всем своим детским сердцем, и мы шли дальше отыскивать мать.

Ее мы находили в том зале, где пели и танцевали. Она всегда была окружена офицерами, и я невольно пятилась, замедляла шаги и только подталкиваемая ласковой рукой няни решалась пройти сквозь эту группу нарядных гостей и под сухим, строгим взглядом матери делала как можно грациознее реверанс и шептала: «*Vonne nuit, chere maman!*»¹

Правая рука матери, тонкая, надушенная, покрытая кольцами, протягивалась мне для поцелуя, из левой я получала всегда конфету или яблоко. Зная, что на этом все и кончается, я почти бегом пускалась прочь из зала.

Вторая картина рисует мне большую полутемную кухню, теплую, чистую. Должно быть, днем, во время стряпни, меня в кухню не пускали, потому что я никогда не помню огня в плите и пара над кастрюлями и сковородками; я помню кухню всегда вечером при свете двух «пальмо-

¹ Доброй ночи, дорогая мама!

вых» свечей, стоящих на громадном кухонном столе. Себя я вижу всегда сидящей на этом же столе. Я представляю себя неотъемлемой, постоянной принадлежностью кухни; моя няня тут же возле меня сидит на табурете, чинит, шьет или вырезает мне из старых карт лошадей, кукол, сани, мебель. Возле меня, на столе же, но на байковом старом одеяле (чтобы все-таки не пачкать стол), всегда сидит или лежит мохнатая длинноухая Душка — собака, родившаяся в один день со мною, выросшая почти в моей колыбели и потому безраздельно отданная в мое владение.

Эта Душка всегда сопутствовала мне и, вопреки новейшим теориям о кокках и микробах, лизала все мои детские ссадины, царапины и ожоги и пила мои слезы, вызванные обидой или гневом.

Пришлый элемент в кухне составляли мои братья. Я была четвертый ребенок в семье, но первая дочь; братья были гораздо старше меня, но погодки между собой. Старший — красавец Андрей, брюнет, с цыганским типом лица, вспыльчивый, почти жестокий в своих играх — требовал всегда во всем абсолютного себе подчинения и главной роли. Два младшие брата — Ипполит и Федор — близнецы, составлявшие совершеннейший контраст между собою, беспрекословно подчинялись ему во всем не только в детстве, но и позже, когда все трое были уже офицерами. Не знаю, под влиянием отца и матери или сам Андрей сумел так высоко поставить свое первородство, но только мы безмолвно признавали его и покорялись ему до тех пор, пока судьба не разбросала нас по свету и не поставила между нами непреодолимую, чисто географическую преграду — расстояние.

Ипполит, худенький, подвижный блондин, с пылкой фантазией в играх, задира и трус, чаще всех вызывал гнев матери и расплачивался не только за себя, но и за нас всех.

Когда я вспоминаю наше давно прошедшее детство, теперь, когда уже ни отца, ни матери, ни брата Андрея, ни Ипполита нет в живых, мне становится горько именно по-

тому, что в этих встающих передо мною картинах детства слезы, розги, сцены необыкновенной вспльчивости матери — все падало на белокурую голову худенького, суетливого, но, в сущности, доброго и милого мальчика, каким был Ипполит.

Третий брат, Федор, был необыкновенно толст и неповоротлив; он вел себя примерно, ел много и в девять лет все еще держался за юбку своей няни Марфуши, уроженки Архангельской губернии. Марфуша обожала его, защищала от всех, как коршун своего птенца, и нередко вступала чуть не в рукопашную с обидчиками ее любимца «Хведюшки». Она собственноручно сшила ему халат и ермолочку, в которых он, на всеобщую потеху, и щеголял по утрам и вечерам. Не только у Андрюши, одиннадцатилетнего мальчика, но и у Ипполита няnek уже не было, но Федор надолго сохранил свою. Уже кадетом, прибегая домой по субботам, прежде всего он отыскивал няню и кидался в объятия своей Марфуши, целовал ее лицо, руки, а та, дрожа и захлебываясь от слез, поглаживала его по спине и проклинала «аспидов», изводящих ребенка.

Братья в нашей кухне, как я уже сказала, представляли пришлый и нежеланный элемент; Андрей и Ипполит врывались туда с шумом, гамом, требованиями и немедленно изгонялись обратно в комнаты, к своей гувернантке, или та сама являлась за ними на кухню и уводила. Федя же, опять-таки не знаю вследствие каких соображений, не разлучался с няней Марфушей и потому часто появлялся на кухне вместе с ней; она подсаживалась к свече и тоже принималась за какую-нибудь работу. Федя примащивался на другой табурет и мирно играл со мною, причем обыкновенно уважал мои капризы и требования.

Стол, на котором я сидела, собственно, был крышкой большого ящика для кур, стены его были решетчатые, пол усыпан песком, и на сделанных внутри жердочках спали несколько кур и большой красноперый петух. Изредка их движения во сне, какой-то неясный шорох или тихое хлопанье крыльев придавали полутемной кухне особую таин-

ственность, что-то невидимое копошилось подо мной, и иногда с бьющимся сердцем я, бросив игрушки, прислушивалась и шепотом спрашивала няню:

— Нянечка, это кто так делает: крха-крхум?

— Петух, родная; бредит, должно, во сне...

— О чем он бредит, няня?

— О деревне небось: там хорошо, привольно, не то что в клетке!

— А в деревне хорошо, няня?

— И-их, как хорошо, сударыня вы моя! Зимой теперь посадки (посиделки) идут у нас, девки в одну избу понабьются, прядут, песни поют, хохочут, парни в гости найдут, семячек принесут, жамок... Опять свадьбы теперь играют... хорошо-о...

И няня, крепостная бабушки, доставшаяся моей матери в приданое, бросала работу и уставляла глаза в угол кухни. Сколько я ее помню, она всегда тосковала о своей деревне, хотя, взятая оттуда десяти лет, более уже не покидала Петербурга и свою дочь, родившуюся у нас, отдала впоследствии в модный магазин и вырастила полубарышней, не имевшей понятия о крестьянской жизни...

Посреди кухни была самая таинственная и привлекательная вещь: большое железное кольцо, ввинченное в половицы. Когда за него тянули, в полу мало-помалу открывалась черная четырехугольная дыра и виднелось начало лестницы, но куда она вела — этого я никак не могла понять. Мне объяснили, что это люк, просто люк. В моем детском воображении слово это принимало самые фантастические образы: то мне казалось, что это подземный сад, потому что из него вытаскивали морковь, зеленый лук, огурцы, то, напротив, я думала, что это волшебный пряничный домик, полный сахара, миндаля, орехов и других сладостей. В то же время слово это было полно и ужаса, потому что няня моя, боясь, чтобы я когда-нибудь не полезла туда вслед за нею, уверяла, что там живет громадная семихвостая крыса, которая схватит меня, если только я наклонюсь вниз, в открытый люк.

Когда мне было пять лет и воображение мое настолько развилось, что я могла давать оценку разным явлениям, то я часто свой страх или восхищение выражала одним словом — «люк». Я говорила: «черно, как люк; страшно, как в люке», или: «так много, много всего хорошего, точно наш люк!»

Во время вечерних сидений в кухне никогда не обходилось без того, чтобы няня не говорила Марфуше:

— Подержи детей, я слезаю в люк достать им гостинца.

И вот, с замиранием сердца, обхватив руками Душку, я ждала, когда скрипнет подъемная дверь, которую няня тянула за железное кольцо, откроется черная громадная пасть, в которой мало-помалу исчезала фигура няни со свечой в руке. Мысль о семихвостой крысе, о громадном страшном подземелье какими-то бесформенными видениями носилась в моем воображении, и я не спускала глаз с люка до тех пор, пока темнота в нем не начинала снова розоветь и из нее не выплывала наконец фигура няни, несшей на этот раз, кроме свечи, еще и решето, в котором были разные вкусные вещи.

Что думал в то время брат Федя, я не знаю, но мне кажется, что он, так же как и я, верил в семихвостую крысу: по крайней мере, его большие голубые глаза выражали такой же ужас, как и мои, и, пока няня находилась в погребке, он сидел тихо, прижавшись к своей Марфуше. Часть лакомств отсылалась в горницы старшим мальчикам, остальное давали нам.

— Няня, крысу видела? — спрашивала я.

— Видела, сударыня, сидит тихо, глазищи большие и семь хвостов шевелятся.

— Няня, она тебя не тронула?

— Нет, нет, голубочка, она только на детей бросается.

— Почему на детей?

— Потому что дети бывают злые, они у нее раз маленьких крысят отняли и утопили; помнишь, как Андрюшенька?..

При воспоминании о том, как брат Андрей, рассердившись на какого-то дикого котенка, притащил его домой и, несмотря на то что котенок, защищаясь, в кровь изодрал ему руки, утопил-таки его в водопроводе, Федя начинает плакать, Марфуша бросается к нему, утирает слезы своим передником и прижимает к груди, шепча:

— Подь, подь ко мне, дитяtko, дай рыльце хвартуком утру, ишь дите сердешное, вспоминать зверства не может.

Я не плачу, но вцепляюсь в мохнатые уши Душки и, глядя в ее круглые добрые глаза, шепотом объясняю ей, что никогда, никогда не обижу ее детей и Андриюше не дам обидеть их, и прошу няню объяснить семихво-стой крысе, что я никогда бы не потопила ее детей.

— Вот когда енералом будет мой Хведюшка, — продолжала Марфа, — он тогда задаст нашему черномазому разбойнику. — И она шутя трясет кулаком в сторону Андриюшиной комнаты.

— Ну уж будет Феденька генералом или нет, — вступается няня Софьюшка, — это еще бабушка надвое сказала, а вот что моя Наденька графиней или княгиней будет, это уже верно, ей сам царь двери отопрет, вот как! — И няня, смеясь, целует меня.

После этой фразы, которую моя няня повторяет довольно часто, мы все неизменно пристаем к Софьюшке с расспросами.

Глава II

*Император Николай I отворяет мне дверь. —
Нянин рассказ о страшном былом*

— И расскажу, и расскажу, — торжественно повторяет няня, — сто раз буду рассказывать, чтобы барышня моя, как большая вырастет, эту честь помнила.

— А ты небось испужалась? — смеется Марфуша.



Надежда Александровна Лухманова (1840–1907) – русская писательница, одна из самых известных воспитанниц Павловского института благородных девиц.

«Человеческое счастье лежит в светлых
воспоминаниях детства»
(Надежда Лухманова)

— И, Господи! Дня три тряслась, все не верила, что так сойдет...

— Няня, рассказывай, рассказывай, — пристаем мы. И, оделив нас лакомствами, няня начинает:

— Гуляли это мы, Надечке годок был, не больше, она у меня на руках, Душка с нами, а щенок ее, Мумчик, что теперь у дяди Коли живет, у меня в кармане. Уж это мы за всегда тогда такие прогулки делали: без щенка ни-ни, лучше и не выноси мою барышню, вся искричится. Вот я и придумала: положу в карман ваты побольше, а потом посажу Мумчика. Он так привык, что, бывало, спит в кармане, пока не придем в сад, ну а потом вынем его да к матке. Она кормит его, играет, а Надечке — потеха. Только нагулялись мы и идем, — и сколько раз нам барин говорил: не ходите днем по парадной швейцарской, ходите другим входом, тем, что в офицерские квартиры ведет. Ну, а на этот раз, как на грех, барышня моя домой запросилась, и я ближайшим ходом да через парадную. Подхожу, а к швейцарской подкатывает какой-то генерал, ну генералов-то мало ли тут мы выдаем, я иду себе, прошла из швейцарской в коридор, а за мною шаги, повернула я голову — вижу, приехавший генерал идет, я себе дальше, а дверь-то к нам в коридор тяжелая. Я посторонилась, думаю: генерал пройдут, я не дам двери захлопнуться и перейму ее. А барышня-то у меня на руках сидит, личиком назад и, слышу, — смеется, ручонками генералу знаки делает, а он — ей, играет, значит, с детей; только я остановилась и хочу переждать, а он-то смекнул, верно, что дверь тяжелая, шагнул мимо нас, веселый такой, да красивый, да высокий, ну, чистый орел, дверь сам открыл и говорит:

— Проходи, нянюшка.

Я говорю:

— Чтой-то, ваше превосходительство, мы позади. Пожалуйте вы спервоначалу...

А он говорит:

— Нет, ребенок вперед!